

О

на была влюблена в трагедию. Она отстаивала право художника не только воспевать и славить, не только призывать к новым высотам, но и обращать внимание на те стороны жизни человека, государства, общества, которые нуждаются в иных красках, в иной тональности, в ином творческом инструментарии. Отстаивала и в беседах с собратьями по перу, и с официальных трибун. На одном из художественных советов, состоявшемся в 1957 году, говорила: никак не могу понять, с каких пор слово трагедия стало ругательством! Скажем, трагедия в стихах «Верность» обсуждалась, и была сделана такая резолюция: очень хорошо, просим сделать трагедию повеселее и нельзя ли, чтобы в третьем акте были танцы. Я сказала, что сделать трагедию повеселее невозможно, а тем более с танцами, эта задача не под силу даже Шекспиру. Эту боязнь слова «трагедия» считаю просто пережитком. Еще Горький говорил: «Наша трагедийная прекрасная эпоха...»

Веду речь о поэтессе Ольге Берггольц, имя которой нынче подзабыто. Даже юбилей пару лет назад прошел как-то незаметно. Так вот, отстаивая право на трагедию художника вообще, она одновременно отстаивала свое право на этот в те поры не очень «фотогигиеничный» (если и бывает трагедия, то только оптимистическая) жанр, расширяющий горизонты творчества и

художественные способы познания мира. Отстаивала, может быть, еще даже не догадываясь, что самая трагическая история ею уже написана — это вся ее жизнь. «Я хочу быть в мире со своей страной... Видит бог, как я пыталась быть с ней в мире», — писала она в дневнике.

Но устойчивого мира ни с собой, ни со страной (точнее сказать, с парией, с государством) так и не было достигнуто. Еще одна цитата из дневника, сделанная в 1947 году: «Сижу и думаю над моей жизнью, и все более странной, мучительно-странной кажется мне она. В сущности, она катастрофична...» Это ли не трагедия?

Утверждение может показаться неуместным: как-никак, лауреат Сталинской премии (1951 год, за поэму «Первороссийск»), удостоенный к тому же двух высших наград Страны Советов — орденов Ленина и Трудового Красного Знамени. А посмотрите, сколько прижизненных сборников, собраний сочинений издано. Какие могут быть обиды и стенания по поводу катастрофичности жизни?

Тем не менее, это так. Перед тем, как взяться за новеллу, достал книги Берггольц из личной библиотеки. Странным образом они соседствовали с поэтическими сборниками ее первого мужа — Бориса Корнилова. Насколько же близкими оказались их судьбы, судьбы многих молодых авторов из творческого стана! Революционная стихия подняла их на вершины бушующих волн преобразования, завораживала новыми далями, новыми безбрежными горизонтами; каждая звезда, казалось, — вот она. Стоит только протянуть руку — и она твоя. Не подчиниться этому ощущению, не поддаться его обаянию, какому-то гипнотическому притяжению не было ни сил, ни желания.

Да, обыденность, быт тянули на дно. Ольга родилась в 1910 году в Санкт-Петербурге через шесть месяцев после свадьбы родителей. Отец, студент-медик Федор Христофорович Берггольц, у которого были немецкие корни, оказался кавалером орденом Почетного легиона, женившись на забеременевшей от него Марии Тимофеевны Грустилиной — девице из самой обыкновенной семьи рязанского происхождения. Он вынужден был даже перевестись из Тарту в Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию. И тут-то началась та самая качка, которая, по меткому выражению Бориса Корнилова, «бесчинствует на земле», в быту. Отец вскоре вернулся в Тартуский университет, а мать, которую свекровь, женщина властная, своевольная, невзлюбила с первого дня, вынуждена была уехать в Новгородскую область, чтобы преподавать на курсах кройки и вышивки. Вернулась она только тогда, когда забеременела во второй раз. В 1912 году у Ольги появилась сестра Мария, Муся, как ее называла будущая поэтесса. А вскоре грянула Первая мировая война, за ней — революция, Гражданская война. Федор Христофорович мотался по фронтам начальником санитарного поезда. Увидел он семью только в 1921 году в Угличе, куда мать с детьми переехала по настоянию свекрови, которая потребовала самой искать себе и детям пропитание. В тот же год вернулись в город на Неве. Там тоже был не мед, жизнь складывалась не очень радужно. Правда, поэтическое призвание проявилось чрезвычайно рано, она оттачивала дар на филологическом факультете Ленинградского университета, много публиковалась, участвовала в работе литературного объединения «Смена»... Но уже тогда подали голос перипетии судьбы: в 1928 году, тоже очень рано, она вышла замуж за Бориса Корнилова, родила дочь Ирину. Брак продлился недолго: Корнилов считал себя обремененным семейными узами и избегал малейшей заботы о молодой семье. Ольга выходит замуж за однокурсника Николая Молчанова, во второй раз (в 1932 году) становится матерью.

Материнское счастье было недолгим: сначала умирает десятилетняя младшая дочь Майя. Как бы ни тяжела была потеря, Ольга считает эту потерю личным, персональным горем, в какой-то степени карой, расплатой за богемную жизнь, за то, что до поры до времени мимолетные увлечения, капризы, желания были для нее

более значимыми, чем близкие люди. Она буд-то была опьянена успехами. Литературным — познакомилась с Максимом Горьким и Самуилом Маршаком, другими видными поэтами и писателями, пошли публикации. И амурным — собираясь замуж за Молчанова, имела много обожателей и откликалась на их ухаживания. Об одном из них, Леониде Авербахе, входившем в руководство РАППом и являвшемся родственником Генриха Ягоды, восторженно писала будущему мужу в Казахстан, где тот работал корреспондентом газеты «Советская степь»: «Он сразу проявил максимум заинтересованности во мне. Мы с ним сразу подружились. Ходили, разговаривали, ужинали в “Европейской” и т.д. Что это за человек — наш Князь!» И далее: «Князь, Князь!..» Увлечения «князем» Молчанов, любивший Берггольц до самоотречения, конечно, заметил, но виду не подал — ни тогда, ни много позже.

А в творчестве и она, и прежний муж Борис Корнилов оставались воздушными гимнастами, акробатами, увлеченными стихами больше, чем, может быть, той жизнью, которую они выражают и отражают.

Бригада нас встретит работой,
И ты улыбнешься друзьям,
С которыми труд и забота
И встречный, и жизнь пополам.

За Нарвскою заставою
В громах, в огнях,
Страна встает со славой
На встречу дня.

Это Борис Корнилов, «Песня о встречном». А вот Ольга Берггольц:

Прекрасна жизнь.
И мир ничуть не страшен.
И, если надо, только вновь и вновь
Мы отдадим всю молодость за нашу
Республику, работу и любовь.

Стихи приходили и уходили волна за волной, волна за волной — туда, к читателю, который уже привык к их звенящей молодости, к их юному задору, к их безбрежному оптимизму. Праздник жизни продолжался. И тут гранитной скалой из воды, сопровождаемой бурунами, вырос 1936 год. Как наваждение. Как вопль. Как Мефистофель. Он вырастал из пучины времени медленно, неповоротливо, угрожающе, наводя ужас арестами, исключениями из парии, поисками врагов народа, начавшимися еще раньше.

Она еще упирается. Она еще борется, она еще убеждает себя в том, что это какая-то случайность. Но когда умирает старшая дочь Ирина, когда учащаются припадки эпилепсии у больного мужа, сил сопротивляться злу не остается — или почти не остается. Она начала искать спасение в вине. А новая беда все ближе, бли-



Ольга Берггольц

же, ближе... В марте 1937 года арестовали ее поклонника Леонида Авербаха. Она проходила по этому делу в качестве свидетеля. Вроде бы пронесло. В середине 1938 года все обвинения были сняты, однако ее исключили из партии, профсоюза и Союза писателей, обвинили в бытовом разложении. После очередного допроса, беременная, Ольга попала в больницу и там потеряла ребенка. Пришлось работать учительницей в школе. 14 декабря ее, опять беременную, снова арестовали, предъявив обвинение в том, что «входила в террористическую группу, готовившую покушения на руководителей ВКП(б) и Советского правительства (т. Жданова и т. Ворошилова)». На этот раз ее выпустят только 3 июля 1939 года. Но — выпустят! К тому времени бывший муж Борис Корнилов за контрреволюционную деятельность уже был расстрелян.

Версий — почему выпустили — не одна. В некоторых исследованиях утверждается, что помог секретарь Союза писателей СССР Александр Фадеев. Раздаются голоса, что необычайно повезло: новый нарком НКВД Лаврентий Берия, сменивший Николая Ежова, проводил чистку органов, поэтому часть дел пересматривали, часть просто зарыли, часть попытались расследовать объективно.

Хочется верить и в ту, и в другую, но — не верится. Потому что Берггольц доставили в Дома предварительного заключения (в просторечии — на Шпалерку) не ради праздного любопытства и увеличения количества выявленных для отчета врагов народа. На нее дали показания некоторые соратники по перу, которых поэсса причисляла к друзьям семьи. В их числе — писатель Леонид Дьяконов, прообраз одного из героев ранней повести «Журналисты». В свою очередь донос на Дьяконова состряпал Андрей Алдан-Семенов, председатель Кировского (ныне Вятского) отделения Союза писателей СССР, сам не избежавший двенадцатилетнего лагерного срока. На допросах, под влиянием, конечно, «особых методов», Дьяконов стал утверждать, что он — давний враг советской власти — создал террористическую группу, членом которой назвал и Ольгу Берггольц.

Читаешь эти утверждения и невольно думаешь о том, что если кто больше всего и помог в ее освобождении, то в первую очередь она сама. Ее, в отличие от коллег, сломить не удалось. Тут уместно будет привести выдержки из очерка Дмитрия Филиппова «Ольга Берггольц, голос блокадного Ленинграда», опубликованного в журнале «Наш современник»: «Вот протокол первого допроса. Короткий, лаконичный, ничего не объясняющий. Только время вызывает оторопь: три часа!

Вопрос. *Вы арестованы за контрреволюционную деятельность. Признаете себя виновной в этом?*

Ответ. Нет. Виновной себя в контрреволюционной деятельности я не признаю. Никогда и ни с кем я работы против советской власти не вела.

Вопрос. *Следствие не рекомендует вам прибегать к методам упорства, предлагаем говорить правду о своей антисоветской работе.*

Ответ. Я говорю только правду.

Записано с моих слов правильно. Протокол мною прочитан. О. Берггольц.

Допросил Иван Кудрявцев.

Обозначено и время: с 21.30 до 00.30».

Она провела в тюрьме 197 дней. Во время этого срока неоднократно подвергалась психологическому и физическому воздействию. Говоря проще, ее били, на нее кричали, не давали спать. В тюрьме она потеряла ребенка. Выкидыш произошел на 6-м месяце беременности. Ей больше не суждено будет родить. Каждый раз на том же сроке беременности организм, запомнив этот точный срок, будет отторгать дитя...

Следователь. Подумайте хорошо. Вы еще можете спасти ребенка. Только нужно назвать имена сообщников.

— Нет, гражданин следователь. Я ребенка не сохранию. (И в это время кровь как хлынет...) Немедленно отправьте меня в больницу!

— Еще чего захотела!

— Называйте меня на вы. Я — политическая.

— Ты — заключенная.

— Но ведь я в советской тюрьме...

Меня все-таки повели в больницу. Пешком. По снегу. Босую. Под конвоем.

— Доктор Солнцев! Помогите мне.

Сидели несколько врачей. Не подошел никто. Молодой конвойный со штыком наперевес, пряча слезы, отвернулся.

— Ты что, солдатик, плачешь? Испугался? А ты стой и смотри, как русские бабы мертвых в тюрьмах рожают.

— Доктор Солнцев! Вы на воле. Вы можете передать моему мужу, что Степки больше нет... Всего два слова... понимаете, два слова: «Степки нет».

Не передал.

Подводя итог этой тюремной эпопее, Ольга Федоровна напишет в дневнике: вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят: «Живи».

Но эти слова будут написаны позднее. А тогда... Тогда она знала, что оставлена друзьями. Знала, единственный, кто не предаст ее, будет муж Николай Молчанов, который в ответ на ультиматум отказаться от жены или положить на стол комсомольский билет молча расстался с билетом. Тогда она знала, что все, что с ней случилось, случилось не по щучьему велению, а по воле государственных — правоохранительных! — органов.

Знала и пыталась оправдать всех, причастных к глумлению над ней тем, что «во все века были и есть нравственно несовершенные люди». Государство она выводила за скобки. Ольге Федоровне, идеалисту, максималисту, романтику, очень не хотелось остаться без мечты — без страны солнца. Поклоннице светловской «Гренады» не хотелось оставлять революционного коня и спускаться на грешную землю без манящего ароматом героики «яблочка-песни в зубах». Не хотелось еще и потому, что, отказавшись от юношеских идеалов, она тем самым перечеркнула бы весь свой поэтический опыт, которым дорожила. И она... вступила в партию.

Трудно сказать, чем закончилась бы борьба Берггольц с собой и с обстоятельствами, если бы не Великая Отечественная война. После фашистского нашествия все оказались по одну сторону баррикад: Берггольц, народ, партия, государство. Последовало немедленное:

Мы предчувствовали полыханье
Этого трагического дня.
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье,
Родина! Возьми их у меня!
Я и в этот день не позабыла
Горьких лет гонения и зла.
Но в слепящей вспышке поняла:
Это не со мной — с Тобою было,
Это Ты мужалась и ждала...
Он настал, наш час,
И что он значит —
Только нам с Тобою знать дано.
Я люблю тебя — и не могу иначе,
Я и Ты — по-прежнему одно.

Написано 23 июня 1941 года с эпиграфом. «Двадцать третье июня 1941 года. Объявлена всеобщая мобилизация». Ольга Федоровна посчитала и себя мобилизованной и призванной. Строка «Это не со мной, с Тобою было» воспринимается

опять-таки не как поэтическая метафора, а как жизненная позиция: довоенное лихо, которое довелось испытать, было направлено не на нее персонально — на страну, на Родину, на Отечество!

Она могла вместе с Анной Ахматовой — предлагали — на правительственном самолете эвакуироваться в тыл, она могла бессчетное количество раз оказаться в Москве или в других более теплых и более сытых городах и всяях. Не эвакуировалась. В Москву слетала только раз — в марте 1942 года — по делам, и через неделю вернулась в осажденный, голодный, холодный, изнемогающий от непосильной нечеловеческой ноши Ленинград, где суточные 125 граммов хлеба были и не хлебом вовсе, а его «символом». Писала другу сердца Макогоненко, ставшему впоследствии третьим мужем: «Знаешь, свет, тепло, ванна, харчи — все это отлично. Но как объяснить тебе, что это еще вовсе не жизнь — это СУММА удобств. Существовать, конечно, можно, но ЖИТЬ — нельзя. И нельзя жить именно после ленинградского быта, который есть бытие, обнаженное, грозное, почти освобожденное от разной шелухи».

Сейчас часто цитируют блокадный дневник Тани Савичевой. Но и поэтическое, и прозаическое творчество Ольги Берггольц — тоже блокадный дневник, читая который не можешь не чувствовать сердца. Попробуйте без волнения прочитывать эти строки из поэмы «Твой путь»:

...И на Литейном был источник.
Трубу прорвав, подземная вода
Однажды с воплем вырвалась из почвы
И поплыла, смерзаясь в глыбы льда.
Вода плыла, гремя и коченея,
И люди к стенам жались перед нею.
Но вдруг один, устав пережидать, —
Наперерез пошел по корке льда,
Ожесточась, пошел, но не прорвался,
И, сбит волной, свалился на ходу,
И вмерж в поток, и так лежать остался
Здесь на Литейном, видный всем, — во льду.
А люди утром прорубь продолжили
Невдалеке и длинною чредой
К его прозрачной ледяной могиле
До марта приходили за водой.
Тому, кому пришлось когда-нибудь
Ходить сюда, — не говори: «Забудь».
Я знаю все. Я тоже там была,
Я ту же воду жгучую брала...

Или вот эти строки:

В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
Где смерть, как тень, ходила по пятам,
Таковыми мы счастливыми бывали,
Такой свободой бурно дышали,
Что внуки позавидовали б нам...

Это выраженное в стихах, оголенное как электрический провод чувство гражданственности. Вот что вызывает у поэта, пожалуй, у каждого человека ощущение единства с народом, со всей страной. Почти ежедневно опухшая, изнеможенная Берггольц, работая в радиокомитете, выступала по радио. Ее грассирующий голос воспринимался не как голос ангела из преисподней, а как колокольное эхо, вселявшее веру в Победу.

Впрочем, «колокольное эхо» — сравнение ущербное. Она не любила громких речей и громких заявлений. Она как бы сливалась со слушателями и говорила с

ними не откуда-то сверху, с некой высоты, а как равный с равными, из толпы. Эта манера наряду с проникновенностью каждой строки приносила свои плоды. 22 февраля 1942 года в 195-м выпуске «Радиохроники» она впервые прочитала поэму «Февральский дневник», получившую всенародное признание. В мае 1942 года сделала такую запись: «Три раза выступала с “Февральским дневником”, потрясающий успех, даже смущающий меня». Тексты стихов люди готовы были менять даже на свой паек. Не случайно писатель Даниил Гранин окрестил Ольгу Федоровну не иначе, как «символ блокады».

Но вот окончилась война, и взгляды Ольги Берггольц на творчество, на жизнь стали постепенно расходиться с установками партии. Внешне все вроде бы было пристойно. Публикации, премии, велеречивые обращения. Но вскоре выяснилось, что гражданский и литературный авторитет, завоеванный Ольгой Федоровной в блокадном Ленинграде, ничего не значит. Берггольц все острее реагировала на критику в свой адрес, считала неприемлемыми редакторские вмешательства в ткань произведения, назойливые замечания по поводу увлечения темой страдания, трагедийностью блокадных событий.

«Разведение мостов» определило, пожалуй, постановление оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», принятое 14 августа 1946 года, а затем называемое «ленинградским делом». В них непосредственно Берггольц не фигурирует, но они направлены против ее друзей, против памяти о блокаде. Был закрыт музей обороны и блокады Ленинграда, из магазинов незаметно начинают исчезать ее книги. Отказ заклеить Ахматову, которую считала своим учителем, обернулся удалением из правления Ленинградского отделения Союза писателей, из редсовета издательства, вычеркнули из списка «Золотой серии» ее книгу «Израбранное», которая должна была быть издана к 30-летию Октябрьской революции.

Ольга Федоровна не сдавалась. И все же механизм 1937 — 1939 годов был запущен. Он звучал в ее естестве, как ленинградский метроном в дни блокады. Она писала, но книги, даже воспоминания «Дневные звезды», благожелательно встреченные и критикой, и общественностью, не вызывали ощущения наполненности жизни. Она, хрупкая с виду женщина, дралась на литературном ринге так, что многих оппонентов с первых минут отправляла в безоговорочный нокаут. Утверждала, например, что личность поэта в послевоенной литературе совершенно исчезла из поэзии и была заменена бездушной техникой. В статьях «Разговор о лирике» и «Против ликвидации лирики» положила на лопатки основного своего оппонента Николая Грибачева. На литературных форумах отстаивала главный принцип подлинности искусства — литературное мастерство. Выступая в Центральном доме литераторов в 1956 году, заявила о необходимости отменить постановление оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» и реабилитировать Зощенко и Ахматову. Ее, «символ блокады», не трогали, но ей по большому счету и не доверяли.

Берггольц чувствовала это. Недоверие вызывало естественное отторжение от партии, от государства, не побуждало к творчеству. Почва уходила из-под ног. Опереться было не на кого. А «опора» на вино, к которой прибегала все чаще и чаще, была заведомо ущербной. Она осталась без семьи: детей не было, мать и отец умерли, второй муж, Николай Молчанов, скончался еще в 1942 году, а третий, Георгий Макогоненко, ушел к другой женщине. Отношения с сестрой Марией разладились. Берггольц фактически оказалась без друзей, которыми особенно дорожила. А главное — она осталась без Веры. А это значит, что оказалась без Будущего.

Таков трагический финал ее жизни.

Что к нему привело: особенности бескомпромиссного, склонного к идеализации характера, о котором говорилось не раз? Особенности жизни страны, в кото-

рой басовитый партийный глас подавлял все остальные голоса? А может, извечный принцип, выраженный в древней народной мудрости — «Нет пророка в своем Отечестве»? Предлагаю каждому читателю самому ответить на этот извечный, каверзный вопрос. Уверен: ответы будут неоднозначные. А пока вспомним бессмертные, выгравированные на граните строки Ольги Берггольц из ее знаменитой эпитафии «Пискаревский мемориал»:

Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане — мужчины, женщины, дети.
Рядом с ними солдаты — красноармейцы.
Всею жизнью своею
Они защищали тебя, Ленинград.
Колыбель революции.
Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем.
Так их много под вечной охраной гранита,
Но знай, внимающий этим камням,
НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО.

Поэтесса Ольга Берггольц, став символом непобежденного Ленинграда, буквально вонзила в сердце и душу каждого из нас эти бессмертные слова. С ними и живем — сегодня, завтра, всегда!